

ОЛЕГ КУРАТОВ

ТОГДА.ТЕПЕРЬ.

РАССКАЗЫ



16+

Олег Куратов

Тогда. Теперь. Сборник рассказов

«ЛитРес: Самиздат»

2019

Куратов О. В.

Тогда. Теперь. Сборник рассказов / О. В. Куратов — «ЛитРес: Самиздат», 2019

Рассказы основаны на воспоминаниях автора, его трудовом и житейском опыте. Научно-техническая и организационная деятельность в течение многих десятков лет сочеталась с романтическим восприятием жизни с раннего военного детства до глубоко пенсионного возраста.

Колдун (Старый коми)

Это загадочное происшествие навсегда осталось в моей памяти как нечто странное, незавершённое, в духовном отношении тревожное, смутное и сомнительное. Оно было настолько неприемлемо, что при воспоминании о нём сознание стремилось избежать его, отбросить как можно дальше.

В конце семидесятых, суровой зимой, мне привелось несколько недель быть в командировке на сверхсекретной военной базе, запрятанной в западных отрогах Северного Урала. Командир базы, генерал, ещё до нашего прибытия проявил любезность: предложил охотникам, если таковые имеются, прихватить с собой охотничье снаряжение. Из «таковых» оказался только я, и в назначенный день мы с генералом и его ординарцем в «УАЗике», ведомом молодым сержантом Славой, выехали в снежные горы.

Тогда я ничего не знал о своей исторической родине, и сообщение генерала о том, что мы пересекли границу и находимся на территории Коми АССР, особого впечатления на меня не произвело.

По дороге генерал дал вводную: охота завтра предстоит на оленей (не северных, а другой, местной разновидности, гораздо более крупных); может повстречаться разная лесная дичь; особо много водится зайца. О зайчатине можно не беспокоиться: охота на них, как известно, дело суетное, подвижное, в общем, хлопотное, так что зайцев настреляют два местных егеря, которые ожидают нас на месте. Наша же главная цель – олени. Егеря наметили два ущелья, по которым завтра с утра один из них поведёт генерала, а другой – меня. Ординарец с водителем останутся в сторожке и будут ждать нашего возвращения; за это время Слава отоспится, и в ночь, Бог даст с добычей, мы, пообедав, выедем в обратный путь.

Прибыв к вечеру на место, мы вышли из машины прямо у порога домика, небольшого, но крепенького, с видом даже несколько вызывающим: окна его были украшены наличниками, а скаты кровли были по-модному несимметричны. Внутри были две небольшие комнаты, обогреваемые большой, добротной кирпичной печью. Упоительно пахло тушёной зайчатиной, млевшей на столе в большой, только что вынутой из печи чугунной жаровне.

Встретили нас завтрашние проводники: молодой крепыш лет тридцати и сухонький, маленький старик. Оба были неспешны и степенны. Между собой разговаривали на коми. Когда познакомились, имён их я не разобрал, и за столом, после нескольких рюмок, я с извинениями в этом признался и попросил егерей назвать свои имена вновь.

– Моё имя Егор, – ответил старик, – сейчас я вроде бы числюсь егерем, а раньше меня все звали Тун. Тун – это, по-нашему, колдун. Я и был не егерем, а туном. А молодой у меня учится, зовут его Петром. А не разобрал ты имена наши потому, что мы назвали свои полные имена, так у нас положено.

– Так Пётр учится у тебя на нового туна, так, что ли?

– Всему учится понемногу.

Стало ясно, что эта тема исчерпана, и я прекратил свои, по-видимому, нетактичные вопросы. Позднее, когда мы с генералом укладывались спать, он пояснил:

– Да никакие они не егеря, то есть нигде ими не числятся. Просто живут всю жизнь недалеко отсюда в горах, в своём поселении; занимаются в основном охотой, а местное начальство их не трогает: во-первых, уважает, как хранителей старины, а во-вторых, как егерей пользуется. Знахари они, я имею в виду по лечебной части, очень хорошие: травы там, коренья и прочее. А насчёт колдовства, скажу тебе, если всем слухам верить, так у тебя здесь живо крыша поедет. Но что-то особенное, как мне на старость моих лет чудится, в этих местах и в людях есть.

За ужином выяснилось также, что моим проводником на завтра будет старик. Он предупредил меня, что с утра проверит моё снаряжение, – ведь он за меня отвечает и должен быть

уверен, что всё предусмотрено. Узнав, что охотой я занимаюсь много лет, он одобрительно кивнул, но на проверке всё же мягко настоял.

Утренняя проверка началась с оружия: старик долго, с почтением рассматривал моё сокровище: штучную винтовку для «старого» биатлона, то есть калибра 6,5 мм, с непривычно широким и массивным прикладом, с локтевым ремнём и диоптрийным прицелом. Я показал ему специальные, штучные патроны с выверенной пороховой навеской. Пули этих патронов имели оболочку из красной меди. Старик довольно кивнул головой и спросил:

- Патронов сколько с собой берёшь?
- Пять – полный магазин. И в запас пять.
- Зачем так много? Боишься промахнуться?
- Так привык.
- Что в рюкзаке?
- Фляга со спиртом, хлеб, кусок зайчатины, спички, верёвка, кружка.

Он осмотрел мои валенки, ватные брюки, лёгкую, на цигейке, куртку, шапку. Проверил, как укреплён на поясе нож.

- Хочешь посмотреть на моё?

Я осмотрел его карабин, в магазине которого было три патрона, нож в чехле на поясе, лёгкий ватник, душегрейку. В рюкзаке его были спички, кружка, верёвка, немного соли и сухарей. В месте, где сходились лямки рюкзака, был вмонтирован стрелочный термометр, по-видимому, подарок от гостей.

Позавтракав душистой зайчатинной, мы вчетвером вышли из дома и сразу начали подъём по двум тропкам, постепенно расходящимся к двум ущельям. Мы со стариком шли по льду речки, а наши напарники – по льду ручья, в эту речку впадавшего. Вскоре они скрылись из виду.

Старик шёл первым, задавая неспешный, ровный темп. Снега было немного, и ход наш сначала был лёгок и приятен, несмотря на мороз. Труднее стало идти, когда старик взобрался по сугробам и камням на уступ в скалах, образующих нашу сторону ущелья. Этот уступ понемногу возвышался и стал по мере нашего продвижения напоминать узкую, неровную, шириной около двух метров, дорогу. Справа от уступа, под обрывом метров двадцать пять высотой, текла подо льдом наша речка, а слева была известняковая стена, нависавшая над нами ещё метров на двести. Противоположный склон ущелья был более пологим. Старик продолжал мерно ступать, с каждым шагом поднимаясь в горы всё выше. Так мы прошли около двух часов. Окружающая картина изменилась.

Наш уступ поднялся над речкой уже метров на сто, а высота отвесной каменной стены, к которой он примыкал, снизилась примерно до пятидесяти метров. Старик указал мне на широкую излучину речки, благодаря которой противоположный берег превращался в спадающий к реке широкий мыс, а наш берег, сделав вместе с руслом реки полный разворот, находился прямо напротив нас, метрах в трёхстах. На нём хорошо просматривалось продолжение нашего уступа. В самом центре излучины был узкий распадок, за которым открывалось широкое, покрытое лесом плоскогорье.

– Оттуда олень ходит по этому уступу в другой лес, пониже, – сказал старик, – надо подождать. Ближе подходить не стоит, учуют. Нас на камне оттуда не видно. Отдохнём. Ишь, как ты взопрел, – пар от тебя валит, как из чайника.

На его лице не было ни румянца, ни пота. Ворот ватника расстёгнут, морщинистая шея обнажена до самого ворота рубахи. Дыхание было ровным и спокойным. Немного помолчав, он спросил:

- Если напротив нас олени появятся, достанешь их отсюда?
- Здесь метров триста?
- Как раз триста и есть.

- Постараюсь попасть. Надо устроиться для выстрела.
- Это ты правильно. Давай-давай.

Мы сбросили рюкзаки, обустроили два места, повалялись на них в снегу, приноровились, выставили прицелы, дослали патроны в патронники, уложили своё оружие так, чтобы удобно было взять. Присели у каменного откоса.

- Тебе сколько лет? – неожиданно спросил он.
- Тридцать восемь. А тебе?

– В этом году будет шестьдесят. Если увидим оленей, ты стреляешь первым: у тебя и оружие лучше, и глаза острее. Когда олень идёт вдоль каменной стены, его плохо видно, он с ней сливается. Так что острый глаз нужен. Целься спокойно, не спеши, они, пока не спугнёшь, здесь ходят медленно. Если побежит – будет яснее виден, зато труднее попасть.

Пошло время молчаливого ожидания. Мороз начинал медленно пробиваться под одежду. Ветер прорывался в распадок у центра излучины и дул вдоль ущелья. Каждый раз, когда я вставал, чтобы подвигаться и разогнать кровь, старик молча и неодобрительно наблюдал за мной. Как только я присаживался, он безучастно отворачивался и смотрел в сторону распадка.

Через два с лишним часа старик прошипел что-то неразборчивое и прополз к своему месту. Я сразу же прокрался к винтовке, оглянулся; старик кивал, показывая пальцем на начало излучины. И только через несколько минут я различил медленно идущее крупное животное. Его маскировка была идеальна: бурые оттенки цвета меха и каменной стены, на фоне которой оно перемещалось, полностью совпадали. Как только зверь останавливался, он полностью сливался со стеной. До места, по которому мы наметили сделать первый выстрел, оставалось не меньше сотни метров. Я держал это место на прицеле, время от времени отрываясь, чтобы наблюдать за перемещением оленя. Для того чтобы унять волнение и придти в то спокойно-восторженное состояние, в которое впадает каждый охотник перед спланированным выстрелом, времени было достаточно. Вот олень остановился за последним кустом, вот показался и медленно вышел на оголённый участок уступа. И как только туловище оленя показалось в круглом поле прицела, я медленно повёл спусковой крючок. Грохнул выстрел.

В тот же миг из ствола винтовки вырвался маленький медно-красный дьявол. Остервенело ввинчиваясь в воздух, он сразу же оставил далеко позади себя звук выстрела и мчался в полной тишине с нетерпеливо-злым ожиданием, издавая тонкий ожесточённый свист. Встретив на своём пути желанную преграду, он с хрустом проломил лопаточную кость и начал яростно рвать живую плоть животного, которое вслед за пронзительной болью ощутило пришедший вслед звук выстрела и рухнуло в снег.

Старик поднялся, отряхнул снег, ещё раз всмотрелся и сказал:

- Точно стрелял. Пошли к нему.

Мы сразу же двинулись всё по тому же уступу. На полпути старик остановился передохнуть, оглянулся ко мне, и вдруг глаза его сверкнули жадным и сладостным предвкушением:

– Свежую кровь пьёшь? – и, увидев, что я отрицательно покачал головой, проглотил слюну и поучительно проворчал:

- Зря. Не надо брать с собой хлеб, мясо, тёплую шубу – горячая кровь всё заменит. Идём. Мы обогнули всю излучину речки и добрались до лежащего животного.
- Матка, – коротко сказал старик и покачал головой.
- Что? – не понял я.
- Это олениха, – пояснил старик и снова удручённо вздохнул. – Как же я не рассмотрел?
- Да, теперь вижу. Да разве оттуда разглядишь?

Ветер всё усиливался, термометр на рюкзаке старика показывал минус тридцать один градус. Несмотря на нелёгкий путь, я промёрз до костей. Старик снял рукавицы, осмотрел свои побелевшие руки и пробормотал:

- Крови попьём и согреемся.

Быстрыми, нетерпеливыми движениями он достал нож, кружку и коробочку с солью; лицо его преобразилось: вместо привычно-равнодушной маски на нём выразилось сложное сочетание чувств: животная, хищная жажда соседствовала с ритуальной торжественностью. Надрезав артерию на шее тёплого животного, он медленно и с видимым наслаждением выпил две кружки подсолёной, горячей крови, дымящейся пахучим паром. Затем вновь вопросительно взглянул на меня; я так же молча отказался. Старик тщательно вымыл снегом губы, кружку, и проговорил:

– Если руки не отогреем, можем отморозить. Давай греть.

Он сделал в брюхе оленихи два небольших разреза, засучил, насколько смог, рукава ватника и погрузил свои руки внутрь большой, тёплой туши. Посмотрел на меня, сурово усмехнулся:

– Давай-давай, устраивайся рядом, отогревай руки. Это старый обычай.

Когда мои руки оказались в горячей, пахнущей кровью и живыми внутренностями плоти, в голове мелькнуло позднее раскаяние. Мне стало чудиться, что олениха ещё жива, и мы мучаем её. Шло время, и пока я терзался этой мыслью, руки мои отогревались, и я уже смог медленно шевелить всеми пальцами.

Тем временем старик вытащил одну из окровавленных рук, взял ею нож, увеличил разрез и вновь погрузил руку с ножом внутрь туши:

– Сейчас печёнку добуду. А за тушей проедем на машине по льду, теперь бояться спугнуть нечего. Тушу спустим вниз прямо к машине.

Он начал быстро орудовать ножом внутри туши, а я вытащил свои согревшиеся, по самые локти покрытые кровью, ярко-красные руки, и тупо смотрел на них, не в силах оторваться. Кровь капала на белый снег. Всё это освещало показавшееся холодное солнце, охваченное радужным морозным кругом.

– Вытирай и прячь от мороза! – сердито сказал мне старик.

Он продолжал копаться в кровавом месиве, как вдруг лицо его окаменело, затем судорожно дёрнулось, словно его настиг приступ боли. Он с натугой сглотнул, выражение лютой боли исказило весь его облик.

– Сейчас увидишь, что мы с тобой натворили.

Я вымыл руки снегом, вытер кое-как платком, рассучил рукава куртки, надел рукавицы, и в этот момент старик извлёк и протянул мне обеими руками истекающего кровью зародыша оленя.

– Вот что мы сделали!

Это был хоть и маленький, уместившийся на двух ладонях, но всё же полностью оформившийся плод. Ручейки крови и слизи, стекавшие с его ещё не покрытого кожей нежного, темно-розового тела, освещало яркое солнце.

Я молча смотрел на него, а внутри меня гремело:

– Что я наделал? Зачем я это сделал?

Я поднял взгляд на лицо старика, и вдруг... увидел в нём какую-то надежду. Не разобравшись, не поняв, я вдруг закричал ему прямо в лицо:

– Что? Что? Можешь? Ты можешь вернуть?

– Ну же! – заорал в ответ на меня старик, – ну, давай же, помогай мне! Ну! Жалей его! – он грубо сунул мне прямо в лицо тёплое ещё тельце, так что я едва успел подхватить его. А он повернулся к растерзанной оленихе, прижал к ней окровавленные руки и закричал ещё отчаянней:

– И её пожалей! Сильнее! Сильнее, ну!...

Я очнулся на том же месте, откуда стрелял. Неизъяснимым образом всё повторялось. Я снова испытывал то спокойно-восторженное состояние, в которое впадает каждый охотник перед спланированным выстрелом. Вот олень остановился за последним кустом, вот показался

и медленно вышел на оголённый участок уступа. И как только туловище оленя показалось в круглом поле прицела, я медленно повёл спусковой крючок.

– Стой! Не стреляй, это matka, да ещё, может, на сносях, – нервно и торопливо, с фальшью в голосе, сказал старый Тун. – Эту пропустим.

Мы молча прождали ещё три часа и отправились в обратный путь ни с чем. Всё это время старик не только избегал разговора, но и смотрел куда-то в сторону. Перед уходом я раскрыл было рот, но колдун пробормотал:

– Да, да, иногда удаётся уйти от такого греха... Ты мне очень помог! Ты сильно чувствовал, сильнее меня, спасибо тебе. Молчи, ничего не спрашивай и никому не рассказывай, лучше считать, что это всё тебе приснилось. В снегу на морозе крепко засыпают, иногда навсегда. И всё забывают. А тебе, послушай старого Туна, лучше вообще охоту бросить. Зачем убивать без нужды? Это для нас охота – жизнь. Но мы зверей любим и бережём.

Вечером, когда я умывался после возвращения в сторожку, я обратил внимание на застывшую кровь под всеми ногтями. Да и на носовом платке были пятна густой крови. Помня слова старого Туна, я никому ничего не сказал. И навсегда бросил охоту.

Я люблю баню.

Когда волна «вакуированных» (в моём родном городе Шуе слово «эвакуированные» употреблялось разве что в документах) хлынула с началом войны затоплять убогое шуйское жильё, в основном коммунальное, всего лишь двадцать лет назад экспроприированное, она принесла в себе не только толпы измученных, с изуродованной психикой новых жильцов, но и мощное стихийное бедствие – тифозных вшей.

Так сложилось, что «вакуированы» в Шую были в основном беженцы из Ленинграда. Местные, родные, незаразные вши распространились ещё до этой волны нового, свехтугого жилищного уплотнения, а вот питерцы принесли с собой в Шую вшей тифозных. Как и по всей воюющей России, были приняты срочные, жёсткие меры по профилактике тифа. Эти меры включали прежде всего «государственные бани», то есть санпропускники – гигиенические конвейеры.

Когда настала очередь нашего перенаселённого коммунального дома, раздалась команда всем выйти во двор. Команду отдали двое – участковый и управдом. Женщины и дети, старики и "вакуированные", сбились в одну запуганную, беспорядочную кучу. Командиры кое-как сформировали построение в отряд и даже скомандовали: "Марш!" Все тронулись с чувством опасности и тревоги. Шли к милиции, где и располагался санпропускник. Нас патрулировал управдом. Дети спрашивали мам: "А нас оттудапустят?" Мамы в смятении, скорее себе, отвечали: "Должны, конечно! Чего такого мы сделали?" Бабушки бормотали: "От сумы и от тюрьмы не зарекайся!"

Это была настоящая преисподняя. Пускали небольшими партиями. Попавший в это казённое, между прочим, бесплатное заведение, оказывался сначала в маленькой комнатке, где жутко пахло палёной шерстью. Здесь грозная, мужеподобная парикмахерша с ручной, больно выдёргивающей волосы машинкой, стригла наголо и женщин, и детей – всех подряд из длинной очереди. Остриженные волосы тут же сжигались в буржуйке, стоящей рядом с табуретом для стрижки и распространявшей дикую вонь. Чтобы вши из состриженных волос не убежали, ножки табурета и буржуйки стояли в противнях с дезраствором. Зеркал, дабы женщины не пугались своего вида, не было ни в этом, ни в последующих помещениях. Рядом страшная, как Баба-Яга, старуха-медсестра с большой банкой йода смазывала ватным тампоном на простой лучинке ссадины от машинки на стриженных головах и колтуны. Далее шла раздевалка, где остриженные и прижжённые йодом раздевались догола, складывая одежду в горячие жестяные ящики. Эти ящики задвигались в отсеки громадной дровяной печи. Установка каждого нового

ящика с одеждой выталкивала с другой стороны печи такой же ящик с «обработанной» (температурой) одеждой. Знатоки призывали нас, детей, прислушаться – им слышно было, как в ящиках трещали, лопааясь от жара, мириады вшей. Из раздевалки все мы, стриженные, попадали в мойку, где следующая угрюмая медсестра, нимало не церемонясь, сначала большой малярной кистью, макая её в ведро, обмазывала обнажённые тела, особо головы и паховые области, жидким мылом с растворённым дустом, а затем этой же кистью подталкивала намазанных к ржавым раструбам, изрыгавшим пульсирующие струи тёплой воды. Все покорялись этим безмолвным толчкам, всё было без слов ясно и понятно. В казённых застенках госбани тёплая вода и своя, "обработанная", горячая одежда вселяли надежду на освобождение. На выходе всех охватывало чувство спасения, словно их выпускали из тюрьмы.

Если что-то подобное при эпидемиях было в средние века, то, несомненно оно и подтолкнуло Великого Босха к деталям изображения ада на правых частях знаменитых его триптихов. Медсёстры были бесами-эзекуторами, а мы – виноватыми грешниками.

В моих любимых московских Усачёвских банях я всегда поминаю шуйский санпропускник военных времён. Гораздо реже и менее ярко мне вспоминается особо приватная финская сауна под Хельсинки, где добродушные, неторопливые финки парили меня в марте пахучими свежеразмороженными зелёными берёзовыми вениками, а потом по-матерински бережно мыли голову и всё тело душистыми пенами шампуней роскошного мыльного отделения. В специальном, художественно оформленном сертификате, выданном мне по этому случаю, говорилось, что я вышел "очищенным кипящей водой, пламенем, паром и пылающей жарой". В списке почётных гостей этой бани были президент Буш-старший, принц Гарри и другие известные лидеры. При мне народу было совсем немного, и всё – какая-то чернь вроде меня.

Сходить за хлебом.

Так. Надо сходить за хлебом. Деньги. Одежда. Замкнуть дверь – ключи.

Ключи... в детстве было много ключей, у которых бородка крепилась не на сплошном стержне, а на трубке. В эту трубку мы набивали порошу или серы со спичечных головок, в трубку совали гвоздь, привязанный к ключу, и – о стену: бах! Сейчас на улицах раздаются точно такие же "бабахи", но пацанам ничего для них мастерить не надо: приходи, покупай.

Теперь в лифт.

Лифт... в нашем доме запустили новые лифты – узкие, белые, сверкающие зеркалами. Очень похоже на тот тесный, блистающий зеркалами туалет в Боинге, где индианка, возведя своими руками подколени к закрытым глазам, упоённо шипела: more! more! more!... Да тише же ты... со своей бинди...

Из лифта.

Прямо перед открывшимися дверьми лифта, у почтовых ящиков вестибюля, курится весёлое, беззаботно ликующее облако. Внутри него беспорядочно клубятся живительные запахи косметики, табака, мускуса, вина. Словно мягкие молнии, проблескивают бурные колебания юной плоти, смех, сияние лиц, одежд и украшений. Это несколько девушек. Бездумная, чистая, животная радость жизни, готовность к приключениям изливаются из этого сверкающего тумана на всё окружение. Миную беззаботно-озорное облако.

На улицу.

Сразу у подъезда передо мной обычный пёс с доброжелательной мордой; он задрал лапу и побрызгал на ствол дерева. Он с таким дружеским, проникновенным утешением смотрит мне в глаза, что мне неудержимо хочется солидарно помочиться, и я чуть было не орошаю изнутри свои брюки.

К булочной.

Перед нашей булочной – красивый газон-лужок. Похожий был у нас на заднем дворе. Там мы оправлялись, присаживаясь гуськом друг за дружкой. Если у кого-то изнутри появлялась «глиста» (аскарида), сидящий сзади прихватывал её пальцами и вытаскивал до конца наружу. Подтирались шершавыми лопухами. На маленьких, кишаших в кале белых глист, никто внимания не обращал.

Вот и булочная.

Хлеб. В голодные времена матери, вручив детям по куску хлеба, не выпускали их из дома, пока не съедят. А вот с морковиной, или свёклиной, или репиной выходить было можно. Обхватив плод двумя кистями, предлагали друг другу: кусай. Тот впивался острыми детскими зубами в оставшуюся снаружи часть, стараясь отхватить как можно больше изнутри. Никогда не обижались.

Сегодня хлебом торгует жена булочника сероглазая Маша, быстрая и ловкая, несмотря на полноту. По-домашнему уютно. Из-за прилавка мне ласково жмурится Танюшка, её внучка. От этого доброго танюшкиного взгляда, от ангельской детской теплоты глотаю внезапные слёзы умиления. Маша обращается с хлебом бережно, каждую булку своими полными руками словно благословляет.

Возвращаюсь. Доброго пса нигде не видно. В вестибюле пусто: от весёлого облака остались всё-таки тени исчезающего ныне запаха юных подмышек – в пору зрелости будораживший, толкавший вынюхивать следы. Какие разнообразные, таинственные, тонкие и в то же время грубо-живые запахи исходили раньше от женщин, от каждой – свой, совершенно особенный! Какие звериные восторги вызывала у мужчин эта бесконечная палитра животных женских дурманов! Сейчас женщины, выжженные дезодорантами, как пустыни солнцем, испускают унитарные, мёртвые парфюмерные миазмы.

Из лифта выползает и пугающе-зловеще приветствует меня старуха с третьего этажа. В ответ я приторно раскланиваюсь, твердя про себя неожиданно всплывшую цитату из "Улисса" Джойса:

– "Старая, запавшая седая п...а!"

Сам такой же. Вернулся. Вот он, ХЛЕБ ВЕЧНЫЙ. Перед ним даже вживлённое чёрное тушется и тускнеет. Так я хожу за ним, как и эти девочки, как Танюшка, как эта старуха. Вот она, старость.

Активисты.

Они хотят меня отправить на летние каникулы в студотряд, чего-то там строить. А у меня на малой родине мама ждёт, чтобы я скорее приехал и подзаработал хоть что-нибудь на дальнейшую учёбу и пропитание, заготовил на зиму дрова, сделал кое-какой ремонт. Кроме того, у меня на родине любимая.

В конце последней лекции на кафедру вышел староста и попросил первокурсников задержаться – заслушать обращение, как он выразился, активистов студенческого движения. Тотчас же вместо него трибуну привычно оседлал маленький, косоротый, вертлявый, настоящий гадёныш. Чуть позади его оказался похожий, стоящий в очередь на трибуну, тоже дергающийся, второй активист. Первый лучезарно представил себя и приятеля уменьшительными именами и сразу же открыл свою трещётку. Невозможно было понять, о чём он толкует, хотя словами он сыпал ловко и слитно. Я ничего не понимал: кто он такой? какого такого студенческого движения? чего от меня хочет? Поспрашивал соседей, выяснил, что эти (с кафедры уже трещал другой активист) шустряки призывают всех без исключения дать согласие ехать на какую-то стройку студотрядом. Я забрал свой чемоданчик и ушёл, не ожидая конца собрания.

В этот же вечер в общежитии другие активисты мне устроили допрос. Допрашивали староста и комсорг группы, комсорг курса и кто-то из студсовета. Никто не спросил меня, почему

я отказываюсь ехать на стройку; каждый на свой лад задавал один и тот же вопрос: зачем было так демонстративно уходить? Почему нельзя было подождать конца собрания, уйти вместе со всеми?

– Что тут такого? – отвечал я, – ведь если я не поеду, что мне там делать?

В результате допроса обещали завтра вызвать на бюро курса, а потом уж в деканат. После всех этих собеседований один из активистов отозвал меня в пустую аудиторию и, воровато оглядываясь, сказал:

– Дурак ты! Тебе надо было дождаться конца собрания, уйти вместе со всеми, молча ехать к себе домой, если тебе так уж приспичило, и никому ничего не говорить и не объяснять. За неявку в стройотряд тебе бы ничего не было, а теперь у тебя целое персональное дело. Понял? Учти на будущее. И об этом разговоре – молчок!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.